



Александр МАЛЬЦЕВ

пос. Бор,
Воронежская область

ЗАКАТИЛО-ЗАБРОСИЛО

*Меня не закатило, а загнало (правду говоря) сюда
неуёмное моё любопытство узнать, что такое тюрьма,
как это там, в советской тюрьме,
советский вор поживает?
Очень мне было интересно собственными глазами
посмотреть, собственными руками пощупать.*

Осень моего жизненного пути всё чаще и чаще, помимо моего желания, относит меня назад – в далёкие теперь уже годы. Не могу и не хочу писать «молодости», ибо не знаю, что это такое. Всё вроде бы так же, как и было. Иногда только «операционка» моего мозга не может воспроизвести нужной информации, да усталость на «машину»-организм накатит. Тогда, в той полузабытой жизни, тоже, может быть, операционка подводила и усталость накатывала, только внимание в те годы почему-то на этом не акцентировалось...

Закатило-забросило меня по молодости лет в воронежские лесные угодья посёлка Бор Рамонского района – в здешнюю тюрьму. Привыкли мы легкомысленно утверждать, что на всё воля Божья, перекладывая даже тогда, будучи ярыми советскими атеистами, ответственность за собственную судьбу и свои поступки на чужие плечи.

Направленный сюда на службу, я, по тогдашним меркам, довольно быстро обрёл жильё и стал «обыкать» – пользуясь местной терминологией – к лесной жизни, и обык так, что остался здесь навсегда. Весь минимум жизненно необходимого в посёлке наличествовал: озеро – кому вздумается рыбки ли половить, душу ли заблудшую загубить (говорят, в нем отмачивали парусину на петровские корабли ступинских верфей), детский сад в старинном здании царского «прижима», школа на окраине заозёрья, сельский клуб и дом-интернат для душевнобольных у озера, кладбище в конце посёлка, буфет с пивом в центре, напротив памятника. И магазин, и медпункт.

После возложения 9 Мая венков к памятнику погибшим взвод солдат из роты охраны делал трехкратный залп. Школьники и работники учреждений начинали расходиться. Седые ветераны в

тяжёлых от наград пиджаках шли сначала в магазин, потом в буфет, твёрдо зная, пиво без водки – деньги на ветер. Взвод солдат под командой офицеров топал строем в роту.

Столовая располагалась в одном здании с зонновским общежитием, где я временно разместился. Тюрьму и двух-, и трёхэтажные дома со всеми удобствами называли ИТКовской частью посёлка. Всё доступно, близко и удобно расположено. У жизни ведь всегда есть выбор, да ещё какой! Что ж не жить?

Спецконтингент, в отличие от нас – мы-то ехали кто на чём и кто как – прибывал сюда казённым транспортом по взрыг разбитой дороге. Километры через лес по обнажившимся корням сосен, пескам-плывунам... Накатанный зимой «зимник» был дорогой более-менее, но летом разбитые песчаники превращались в сущую непроходимость. Люди поумнее сямки-обывателя считали это удобным. Сямки ругали власти за отсутствие дорог, не понимая того, что проверяющим пробираться к учреждению по пескам-плывунам да глубоким снегам охоты не было. И это был огромный плюс.

Не знаю, что со мной было бы дальше, позволь я себе тогда, при нашей тогдашней самой справедливой, самой гуманной и самой демократичной власти, продолжать прежние свои умствования вольности высказываний! А до того позволял. От первого секретаря районной партийной власти прежнего места обитания до пузатой мелочи на местах что-то обо мне понимали не так. Они не замечали моей крайней смущённости и попытки её побороть словесной игрой. И только когда начальственный приятель, прошедший Центральную Африканскую Республику, учительствуя там с женой вплоть до свержения царя-людоеда, шепнул мне: «...житья не будет», я решил бежать. Тут, на службе в тюрьме, замолк как рыба. Или нужды не было, или подходила пора относительного поумнения.

ЧЕМ И КАК ЖИЛОСЬ

В школу тогда, как и теперь, приводили пацана за ручку учиться. И школа учила! Учила главному в тогдашней, да и в сегодняшней жизни – лицемерию. Только тот, кто постигал и постигает эту науку полнообъёмно, быстро поднимается по служебной лестнице, пользуется благами жизни. Школа учит говорить правильности, улыбаться и любить глазами, а что там в душе – вопрос не стоял и не стоит.

– Надо покорять, – всерьёз и назидательно отчитывало бы, вызвав на «ковёр», начальство, –

претерпевать трудности, жить устремлённым в коммунистическое завтра, а не пристраиваться.

И ладно мужик-праведник отчитывал бы, а то ведь начальство само всё в грехах, как кобель в репьях. Это они дома на кухнях о таких по-житейски бестолковых, как я, говорили жёнам: «Ещё одного чудика нам подкинули...»

«Прежде думай о родине, а потом о себе», – добавили бы в парткоме словами из песни те же рано облысевшие от государственных забот мужики. И думали...

Но я их такого «счастья» лишил своим упорным молчанием в любой, даже самой щекотливой, ситуации.

Состоящие при больших должностях люди говорили тогда пафосные слова, не отдавая себе отчёта о сказанном. Может, конечно, и отдавали – да только куда им было деваться от одного из составных элементов понятия службы, службы, как говорило радио и кричали со стен плакаты советскому народу, советскому государству. Но, судя по лёгкости смены одной власти другою в девяностые годы прошлого века, не было государство советским. Властные сидельцы, а с ними и мы – начинающие интеллигенты, размываемые ни во что с семнадцатого года двадцатого века, подсознательно ждали толчка, а народ дурили словесностью устремлений. И я дурил, отработывая свой хлеб на политинформациях вольнонаёмным и заключённым. Так и жили мы в «тёмном лесу» лицемерных умов и благих пожеланий страны советов.

Двойственность во все времена царила и царит, ведь мысль – даже ещё не изречённая – более близка к ложной. Она не всегда принимает действительность благожелательно. И тогда, и сейчас это осуждают все, но живут именно двойной жизнью по рекомендациям американского психолога-наставника Дейла Карнеги. Хотя до сих пор в философской прострации – как правильно и справедливо, а как нет, никто точно, кроме неведомых нам сил, не знает.

Редко кто в жизни романтично донкихотствует, очень редко. Лучше жить, считает большинство, получая удовольствия от удовлетворения своих постоянно растущих потребностей. Может быть, по сути, оно и верно. В советском школьном курсе обществоведения это было определением основного экономического закона и в то же время противоречием коммунистической теории, если хорошо подумать, вспоминая высказывания нашего Герцена и итальянца Грамши о распротаривании масс.

Верхами акцент переставлялся, меняя, а правильное – подменяя одно понятие другим, от не-

возможности дать всем «по прянику». И сейчас, в середине второго десятилетия двадцать первого века, ситуация с пряниками не стала лучше, но хотя бы нет прежней демагогии. Тогда же за такие суждения поплавков-партбилет коммуниста точно бы отобрали. Корю не время, не систему, не государственное устройство, корю человека с его проявлением слабостей «дай» и «хочу».

ЛЕС

Трудно мне, степняку, приживалось в окружении высоченных сосен с их вечно мягким шумом от малейшего движения воздуха, тишиной слух режущей, своеобразия лесного эха, неуёмной красоты вокруг. Лес стоящий, куда ни глянь, порождает ощущение сдавленности, вечно зелёной пелены вокруг стены, закрывающей обзор.

Первое время часто вспоминались родные места, просторные полями на десятки километров вокруг. Места с холмами, перелесками, лицами, в окружении которых вырос и познал мир. Но время, оно всесущий и всясущный лекарь и подвижник в делах устройства судеб человеческих, затянуло раны, расставило всё по своим местам.

Тяга к прежнему месту обитания, тоска по нему постепенно уходили главным образом по мере ухода из жизни сначала сверстников моих родителей, дальних и близких родственников, потом уже и просто знакомых. А когда встречные перестали бросаться наперерез, останавливаться, вычисляя в памяти, где и когда меня в последний раз видели, останавливаться в удивлении тому, как меняет нас время, — тяга к родным местам сошла на нет окончательно.

Первые прогулки познавательного характера и робкие походы за грибами часто заканчивались глухим блужданием с топтанием по кругу.

Выходил на производственный шум предприятия в посёлке. Позже научился ориентироваться по солнцу, запоминать рельеф местности, характер троп и дорог, приметные особенности отдельных сосен, ориентироваться по карте кварталов.

На своих частных лесных примерах учил меня лес видеть его, да и свою жизнь пристальнее. Набрёдёшь на подсохшее болотце, и — ах, какая прелесть, совсем ещё крохотная густая поросль сосенок вперемежку с берёзками. Стоят они маленькие, щупленькие и трогательно-беззащитные, как детишки ясельной группы в детском саду. Шансов выжить столько же, сколько и погибнуть. Может вода вернуться, могут звери набрести и скушать, а может, Бог милует и от того, и от другого. И пойдут

они в рост споро и мощно. Всем захочется побыстрее вырваться из чащобы к солнышку. И соседней сосенке хочется, и берёзке хочется. Не выбрасывая боковой поросли, прямыми и тонкими стволами спешить им вверх до последнего. Первыми отстанут берёзки, зачахнут без солнышка и сойдут с дистанции гонки за существование. Сосенки ещё долго будут соперничать теперь уже между собой, соперничать до первой слабости. Отставшие повторят горькую судьбу берёзок.

А вот там, где поросль тех же сосенок поднимается редкая, всё выглядит совсем иначе: не спеша растут они, рогатясь во все стороны боковыми ветками и побегами. И ствол-то у них, как у бабы на сносях, в ширину прёт. Только на дрова такая древесина и пригодна.

И смерть в лесу зримее и трагичней. Умрёт дерево, в звон высохнет, а всё стоит. Стоит до первых хороших ветров осени. Если ствол ещё крепок, вывернет дерево ветер с корнем. И хорошо, если упадёт оно меж стволов. А то зависнет, сцепившись с кроной соседа, и скрипят они на два голоса дуэтом на весь лес о своей тяжкой доле. Долго скрипят. Осыпаясь гнильём сучьев, изводят сосед соседа своей тяжестью так, что и тот не растёт, а гнётся и каржеет; но куда от судьбы!

Дуб же, и мёртвый, мощнее сосны. Спадёт с него, как с воина доспехи, к подножью большими пластинами кора, а он стоит серый и голый, в звон — как говорят местные — высохший, не поддаваясь гнили. Гольё сучьев кроны, похожее на растопыренные пальцы пятерни рук, к небесам воздев проклятенно или молитвенно, не разобрать.

Рубить топором похожий на фантастическую лапу невиданного зверя ствол невозможно — топор отскакивает как от мосла или железа, цепь бензопилы дымит и, раскалившись, вытягивается. И стоит он, вцепившись корнями-когтями в землю мёртвой хваткой в прямом смысле. Но часть сучьев его кроны уже валяется под останками дерева. Это лесная живность принялась за дело. Жучки разных специальностей крушат его тело. Пёстрый дятел свои позывные стучит-выстучивает — тех же жучков и всяких личинок добывает птица, разнося крепким клювом древесину в прах.

ЗА ЗОНОЙ

С таким багажом эмоционального настроения и знаний об окружающем оказался я в определённом смысле на острие одного из идеологических направлений.

Знакомство моё со здешними людьми и поряд-

ками началось в стареньком клубе, который на районном балансе, наверное, числился Домом культуры. По понедельникам здесь проводились политзанятия и что-то вроде расширенной планёрки с офицерским и вольнонаёмным составом. Мест разбухшему штату исправительного учреждения едва хватало, потому рядом строилось здание попросторнее и покапитальней. Это было время донашивания наследия прошлого: кулацких просторных изб и административных зданий, построенных при царе-батюшке.

Народ в шинелях, по долгу службы, устраивался с казарменно-тюремной шуткой «к куму поближе», то есть поближе к сцене, «власть» – начальник и замы (кумовья) за столом на сцене, конторские – в основном женщины-мастера и начальники цехов предприятия – на «задах». Дальше всё шло своим чередом: капитан Шаповалов – бывший сотрудник районной газеты, рекрутированный в органы – зачитывал по бумажке информацию о нашем победном строительстве коммунизма в стране и сова нии палок в наши шустрые колёса мировым империализмом. Михаила Андреевича ээки звали Машка. Это у него я принял 140 душ спецконтингента, называемого отрядом, его же перевели бумажки писать при политчасти да курить свой любимый «Беломор». Забыл он только свой сейф теперь уже в моём кабинете. Мне сейф не мешал, а вот у завхоза отряда осужденного Кузьмы «живот болел». Кузьма жаловался: «Откроет, пузо в двёрку сунет, что там – не разглядеть». Вскоре сейф исчез, а Кузьма пояснил: «Накапал кому следует. Двёрку взломали, бумажки посмотрели, сейф забрали», – и тишина.

Слушали директора предприятия майора Николая Новикова, клубного баяниста в прошлом, об угрожающем положении выполнения плановых заданий. Начальники цехов – народ от верстаков и станков – сообщали о выполнении заданий по изготовлению шкафов, одно- и двухтумбовых столов, о трудовой дисциплине спецконтингента.

Начальник сборочного цеха Александр Николаевич Часных, единственный начальник цеха с высшим образованием, поводя по лицам иронично тёмными глазами, настаивал почаще «макать» нарушителей, «чтоб другим неповадно было». Оно и понятно – скоро завершение годового плана. Как всегда, завершать его придётся к концу января, рапортуют же верхам о завершении в середине декабря.

Начальник заготовительного цеха Орешкин – ему хорошо, он не в конце производственного цикла, где надо отвечать перед народом «почему» – прилюдно пустил слезу жалости в защиту эзков: «Дети ведь они чьи-то, а значит, и наши дети...»

Мои подопечные работали у него в заготовительном цехе. Василий Михайлович состоял в Совете воспитателей отряда. Присутствуя на разборе залётов подопечных, выступал: «Дети мои...» – делал паузу, достав из кармана платок, вытирал слёзы и говорил-уверял так, как просят в долг. Он был хороший плотник и никакой начальник цеха. Все функции начальника цеха выполнял ээк-бригадир Ныркков.

Однажды после развода, когда бригада ушла в рабочую зону без бригадира, застал я Ныркова на койке («шконке» – по-эзковски) под одеялом.

– Что, – спрашиваю, – случилось?

– Да вот, – отвечает, – команда «подъём», а у меня живчик одеяло шалашом держит. Я его вбок, а он хруп. Пухнуть начал и чернеть. В санчасти сказали, лопнули сосуды.

Начальник производства капитан Дмитрий Щеглевых отчитывался о «культуре производства», обозначая, таким образом, не уровень технического состояния станочного парка и технической дисциплины спецконтингента, а несвоевременную уборку мусора.

Выступали начальники цехов о делах вообще и мастера о частности.

Морев Володя – полненький мастер заготовительного цеха – пожаловался: «Токаря за пьянку посадили в штрафной изолятор, точить ножки на столы и шкафы некому». Зам по режиму майор Бобрешов, киномеханик в прошлой жизни, пошутил-поддел: «У Морева сейчас другие ножки на уме». Оценив шутку, в зале засмеялись – у Морева вскоре должна была быть свадьба. Вообще, майор Бобрешов говорил-выступал всегда образно и содержательно, больше налегая на жестуляцию:

– Вот... оно... так сказать, а выразиться точнее... ну, вы понимаете – если мы сейчас будем ослаблять дисциплину... ну вы понимаете... так сказать, нас наверху могут не понять и тогда спросят, ну вы же понимаете о чём я говорю, и за невыполнение плана... вот... но и за кое-что ещё!

Не сразу подошла очередь подняться и занять место за столом Дрютову – низенькому лысому с утвердительными чертами лица председателю местного народного суда и механику учрежденского гаража.

Совсем недавно бесконвойник попытался угнать кумовской бобик. Дрютов запрыгнул на капот и предотвратил побег. Теперь он скучно и буднично зачитал бумагу, где говорилось: в некоем городе препровождён был в вытрезвитель начальник снабжения учреждения ОЖ 118/4 Сысоев. И просьба принять меры общественного воздействия, и о принятых мерах известить.

Личность снабженца, надо сказать, загадочная и интересная. Зная как родной немецкий язык, служил он в своё время в группе советских войск в ГДР. Разведчик, сильно смахивающий на артиста, сыгравшего разведчика времён войны Пауля Зиберта-Кузнецова. Мужик умный и собранный, но любитель выпить. Он знал – судить будут, но накажут не очень. Нити сложных связей держал он в своих руках. Пригласили его из задних рядов на сцену – пусть, мол, народ посмотрит на отличившегося.

Рассказ его был незамысловат. «Всех на фабрике обошёл; и сбыт, и главного инженера, и директора – нет шпона, и всё тут. Видно, как и мы: отпрапортовали, а не сделали. Осталось одно – кладовщик. Взял три бутылки водки и пошёл на поклон. Шпон добыл, да вот пришлось задержаться». «Какие будут мнения?» – обратился к залу председатель народного суда Дрютов. «Премии дать, за общее дело пострадал», – не к месту и не в то время предложил сердобольный Василий Орешкин. Председатель суда поморщился, но, не зная, что сказать, промолчал. Поднялась секретарша из приёмной начальника колонии Зинаида Семёновна: «Ты б, – говорит, – бутылки-то отдал кладовщику, а сам шёл грузиться». Сысоев поднял полный укоризны взгляд на секретаршу, и притихшие в зале услышали: «Какая ж ты у нас умная!»

* * *

Уже и не помню, кто посоветовал мне обратиться к зятю лесника Василия Демьяновича лейтенанту Сидоренко. Тогда, по молодости лет, особо не мудрствуя, быстро обретались друзья. Первым, с кем свела меня здесь судьба, и был Павел Сидоренко. Это он должен был поговорить со своим тестем о возможности моего проживания в его времянке. Жизнь в общежитии, где мне предоставили койко-место, не восторгала.

Павел – молоденький лейтенант на какой-то инженерно-технической должности после лесотехнического института – поговорил с тестем, и обрёл я вскоре пусть условную, но самостоятельность. Казённый дом лесника располагался близко к берегу озера. Длинная плотина озера соединяла две части посёлка – итековскую с тюрьмой и заозёрную с интернатом. Интернат для душевнобольных располагался на территории некогда пионерлагеря. Дико было видеть душевнобольных в окружении гипсовых пионеров с барабанами и горнами на невысоких постаментах.

Осенью, по осенним тёмнам, заозёрный народ шумно топал по плотине на работу «на автопило-

те», умудряясь в кромешной тьме обходить лужи и разросшуюся береговую растительность. Глянешь, бывало, в ту сторону, выходя на службу, услышишь говор и тяжёлое чавканье сапог да увидишь движение огоньков сигарет.

Рассказывали – едет в сумерках мужик по плотине ставить машину в гараж интерната. Глядь, а на мосту милиционеры. Заглушив мотор, приоткрыл мужик дверку кабины, сполз тихонько к воде. И только переплыв озеро, отдышался. Утром гараж помирал со смеху. Сердобольный рамонский милиционер, уходя на пенсию, привёз и подарил больным свои шмотки. Больные приоделись – и на мост покрасоваться.

У итековских водителей, и у интернатских была незабываемой традиция: к вечеру, возвращаясь в гараж, сначала преодолеть разбитую в прах песчаность, потом остановиться ещё в лесу, но уже на подъезде к месту, и выпить. Вот почему мужик решил, что вплавь будет ближе.

* * *

Посёлок постоянно пополнялся не только приезжими. Местная женская половина активно приглядывалась и к солдатам из роты охраны – Кикилык, Пахомов, Мороз; и к сидельцам – Коротев, Рябов; и к молоденьким лейтенантам – Маркунин, Курец, Оганесян. Образовывая семейно новые рода, они оставались жить в посёлке. Но иногда союз с бывшим сидельцем как-то разочаровывал.

Томка о своём Коротееве говорила подругам: «Трезвый – ангел, пьяный – зверь. Трезвый и двор ладит, и за скотиной смотрит, и добытчик для семьи. Выпил – всё». – «А поучить не пробовала?» – интересовались подруги. «Однажды разозлилась, села в поезд и поехала к сестре в Москву. Выхожу из вагона в Москве, а он на перроне с огромным букетом цветов уже стоит, и глаза восторгом сияют. – Я так рад тебя видеть, дорогая, – говорит. Ну что тут было делать! Как новобрачные поехали назад».

Через небольшой промежуток времени после моего назначения на службе появился Юра Фоменко. С Павлом мы уже «обнюхались», наши жёны обнюхались, с Юрой и его Ниной обнюхивание тоже не затянулось, определяя нашу дружбу на годы вперёд. Так сложился тройственный союз, к которому то примыкали временно, то отделялись, уходя в другие сообщества, новые члены Саша Маркунин, Василий Шиянов, Владимир Гриднев и многие другие.

* * *

В целом офицерское содружество характеризовалось бесконфликтностью. «Обмывалось» до блеска всё или почти всё: очередное звание, приём новых членов, советские праздники, улучшение жилищных условий...

Не считаю это чем-то из ряда вон. В большинстве случаев такое происходило в брежневско-поцелуйно-застойное время повсеместно. Застолье расслабляло, позволяя поговорить «за жизнь» открыто. Высказать то, на что по-трезвянке не хватало ни духу, ни случая и времени. На диссидентов смотрели иронично, тронулись, мол, умом хлопцы. С государственной политикой и горячо любимым Леонидом Ильичом были согласны потому, что лучшего ничего не видели и не представляли. Альтернативы в нашем понимании самому передовому коммунистическому учению не было и быть не могло. Сомнение если и было, то гнездились оно где-то очень глубоко, не детализируясь. А то, что староват был генсек, многие утешались избитостью очевидного: никому этого не обойти. И не так уж был тёмн лес тех суждений...

Прошло с тех пор уже более тридцати лет. Много чего произошло и в нас, и в стране, но неизменно во мне ощущение тепла того коллектива, того обрётённого тогда офицерского братства, в большинстве своём искреннего и человеческого.

ЗОНА

Для нелёгких времён – это когда кончалась заварка чёрного чая – хранилась у сидельцев высушенная уже использованная заварка, как, кстати, и окурки. Я считаю окурки сигарет классикой примера. «Абсолютный» – моё определение – русский поэт Марина Цветаева, описывая трудные времена проживания в Чехии, упоминает как спасение окурковый табак. Используемую заварку называли нифелями, а процесс заваривания называли не чифирь варить, а поднять нифеля. Но неизменно было название употребления – раскумаривание.

Работа вызвала интерес, потому терпелось неудобье приходить на подъём к шести утра, подавляя зевоту, торчать на службе после отбоя, выслушивая потом недовольство жены. «Все уже давно мимо промелись по домам, – бурчала недовольно сонная супруга, собирая на стол ужин. – Одного тебя там привязали». И прибавляла: «Ун-

тер хренов». Она же придумала разделение работников учреждения на подпоясанных – люди в форме – и остальных.

* * *

– Первый пошёл, второй пошёл... – так под лай овчарок начиналась чисто тюремная жизнь для выходящего из автозака. За ним, ровно по счёту, остальных. Эти люди прошли начальную школу отбывания наказания в следственном изоляторе и в колонию прибыли уже разделёнными послонно. Самый нижний слой, слой неприкасаемой шудры, не выдержавшие вступительных экзаменов, ну хотя бы на мужика – самого массового слоя тюремной общественности – «опущенные». Слабаки интеллектуально и характером, проигравшиеся в любую из игр и не оплатившие долга. Их насиловали камерой и будут продолжать пользоваться «на зоне». Над ними самая массовая часть слоя – мужики. Это они «мукают» в производственной зоне и жилой. Это они вступают в зоновский актив, чтоб уйти условно-досрочно. Шурьё только делает вид деятельности, а потому часто сидит в штрафном изоляторе и, устав от тюремности, часто переливается, не бесконфликтно, в мужики. И ещё зона – это чифирь.

Для варки крепкого чая-чефира (чефир, чифир, чифирь – что научней, не знаю, потому что говорят и так, и так) подбирали подходящую жестяную банку. Обмахнув верхнюю часть обыкновенным куском стальной проволоки, делали длинную ручку-скрутку. Два кирпича, бурьян или щепы на топливо, и «чайхана» может принимать гостей. Вокруг сооружения на корточках – излюбленная зковская поза – ждали закипания. Сыпали много заварки чёрного чая в кипяток, держали некоторое время над пламенем, давая ещё кипнуть, и пускали по кругу. Пили, шумно втягивая горечь чёрного, как дёготь, кипятка. Процесс назывался раскумариванием.

* * *

Виктор Быков, осуждённый по аварийной статье, проигрался в следственном изоляторе. И мужичишка-то к столу подсел щупленький. Пальцы его рук карты держали неуверенно, даже роняли. Курил «Беломор» – папиросы так назывались – обсусливая слюной бумагу мундштуков до тряпки. Откусив размокший конец, выплёвывал его в угол, а посвежевшую папиросу, докуривая дотла, мял под конец в консервной банке, прис-

пособленной под пепельницу. Уголки его губ неприятно наполнялись пеной слюны, но он этого не замечал. В карты поглядывал редко.

«Ща я его, – мечтательно думал Быков, – накрою. Будет махру жечь, интеллигент хренов». Он ещё не знал, что сокамерники, с интересом наблюдавшие за игрой, уже все были должниками бывшего университетского преподавателя математики, осужденного по громкому делу Красносельского. Незаметно для себя Виктор проигрался до трусов. Вадим, так звали мужичишку, двинул одежду к Быкову:

– На, носи. Это подарок. Пиши ксиву на волю, деньги на этой неделе должны быть. Адресок дам.

Надежды на мать у Быкова не было, но даже если бы и была, он все равно не переступил бы внутренний запрет.

Когда он решительно пошёл к железу двери, сокамерники в умах решили: «к куму, будет проситься перевести в другую камеру, сука». На стук в проёме двери оквадрилась мощная фигура вертухая. Кулак Быкова тут же врезался в сытость лица надзирателя, а уже в следующее мгновение в коридоре под тяжёлое дыхание работали дубинки и тяжёлые сапоги. В камеру заволокли бесформенную грудю тряпья и телесности. «Кому тут ещё надо дубинал выписать?» – скорее для проформы, посапывая разбитым носом, спросил, перед тем как запереть дверь, надзиратель. Так свёл к нулю свой долг подследственный Виктор Быков.

* * *

В зоне Быков, сохраняя авторитет, неоднократно отбывал свои пятнадцать суток в штрафном изоляторе. Сообщество верхушки отбывающих безоговорочно доверяло ему хранение общака – свой беспроцентный сбербанк в зоне. Хранился общак в тайнике в портрете или за портретом горячо любимого генсека Брежнева, в кабинете над головой отрядного, родом из далёкой Армении, Гайка Суреновича Оганесяна, о чём тот, конечно, ни сном ни духом. И надо ж было случиться тёмной истории пропажи общака!

Во время съёма с работы, когда весь личный состав отбывающих наказание и офицерский начальствующий состав стояли друг перед другом, Быков вышел из строя, сорвал фуражку с головы капитана Оганесяна и, бросив её под ноги, растоптал. На такое способен не каждый. По-моему, это тот самый советский и русский, который и на амбразуру ляжет, и командира собой закроет.

Спустя много лет Быков приедет в посёлок, найдёт меня и будет благодарить за отправку его через суд в Елец на тюремный режим. Такие учреж-

дения зэки называли «крыткой». Это в корне изменило его взгляды на жизнь. Ему, преступнику по случайному стечению обстоятельств, это спасло не только судьбу, но и саму жизнь.

* * *

Цыган Николай Кузнецов то ли по собственному заявлению, то ли по инициативе политчасти тоже оказался у меня в отряде. Впечатление он производил самое благоприятное. Когда нужно было решить сложный производственный вопрос с женщинами из бухгалтерии производственного отдела, бригадиры-зэки шли на поклон к цыгану. С женщинами Коля мог решить в свою пользу любой вопрос. Своим нежнейшим баритоном, тихо выговаривая каждую букву слова, он творил чудеса.

Вспомнилось: во время службы в армии выехал наш учебный полк связи на ученье в местечко Караязы в Армении. В горах там ранней весной ночами очень холодно. Выбрался я на рассвете продрогший из палатки подвигаться, погреться и обомлел от увиденного: по ближней ложине в предраассветном тумане привидением бесшумно шла колонна танков, только траки позвякивали. На выходе из ложины головной танк, выбросив клубы чёрного дыма, взревел, и пространство наполнилось гулом дизелей и грохотом металла.

Общаясь с Кузнецовым, я вспоминал танки-привидения...

– Как жить собираетесь, осужденный Кузнецов, ни специальности, ни жилья?

– Женщины прокормят и обогреют, – мягко ответил осужденный за мошенничество Николай. – И музыка.

Действительно, когда он выходил с гитарой на сцену, закрыв глаза, трогал струны инструмента, густо беря аккорды, и тихо в мёртвой тишине начинал петь-рассказывать, я ощущал себя в другом мире. В кульминационные моменты меня отрывало от земли, и какая-то мощь держала и заставляла проникаться симпатией к исполнителю. Знакомым и даже затасканным песням он давал своё прочтение, и они обретали новый смысл. Сегодня, спустя много лет, вспоминаю я Кузнецова, прослушивая песни Владимира Высоцкого. Манера исполнения абсолютно разная, но это у них звучала неукротимо-первобытно-абсолютная анархическая свобода. Блатную зоновщину, сегодня не сходящую с телеэкрана, я от него не слышал ни разу. За Колей прихромал ко мне в отряд на протезе москвич, виртуоз-баянист Щербаков. Потом поволоклись художники и прочая... прочая...

* * *

История с Кузнецовым и закончилась необычно. Оперативники Ваня Юрченко и Пётр Верещагин (вместе рыбачили и ходили по грибы) попросили меня перевести цыгана в зоновскую каптёрку, где хранились припасы сидельцев. А месяца через два разразился скандал с пропажей. Оперативники предложили оформить Кузнецова – по оперативным соображениям – в помещение камерного типа от греха подальше. Теперь песни Коли воспроизводил отрядный магнитофон – их и телевизоры уже тогда использовать разрешили, – а исполнитель «парился» в ПКТ.

И надо ж было в тот раз планетам расположиться именно так – в кабинет ко мне вошёл майор. Представившись, сказал, что прибыл из управления для ознакомления с положением дел. Это он вчера на съёме с работы обратился к спецконтингенту:

– Товарищи, я как представитель УИТУ... – и пошло-поехало... наши офицеры, качая головами, отворачивались, пряча ироничность улыбок.

Тогда частенько областные чиновники переходили на службу в МВД. Им вешали хорошее звание, засчитывали весь предыдущий стаж в службу. Через два-три года он – пенсионер, и все остальные прелести жизни. И вот чтоб эти горе-спецы не крутились под ногами, их отсылали в надуманные командировки.

Покурили. Майор рассказал, как впервые надел шинель, как впервые в новом обличии ехал в трамвае, держа на коленях связку книг, как субъект в теплогрейке подошёл и молча ударил кулаком в лицо. Очки слетели в одну сторону, фуражка в другую, книги рассыпались на полу, а мужик растворился в проёме открывшейся на остановке двери.

Ещё покурили. Поговорили о специфике отряда.

– Сидят у нас тут, – говорю, – и большие люди в прошлом – бывший директор воронежского ЦУМа осужденный Иванов выдаёт осужденным книги в зоновской библиотеке.

– А это кто же так поёт? Артист какой-нибудь? – заинтересовался майор, прислушиваясь к записи Кузнецова, не уделив внимания моему сообщению о директоре ЦУМа.

– Да нет, – говорю, – осужденный за мошенничество цыган.

– А пригласите-ка его в кабинет, – попросил или приказал проверяющий.

– Не могу, товарищ майор, из ПКТ нельзя. Можно только там, в штрафном изоляторе, где камеры ПКТ, и пригласить, и поговорить.

Пришлось мне майору из УИТУ рассказать исто-

рию с водворением в ПКТ осужденного Кузнецова.

– И что, все основания для водворения в ПКТ только оперативные соображения?

– Да, – говорю, – чтоб не пришибли за пропажу.

– А его вина в пропаже доказана?

– Кому это интересно, товарищ майор, пропали вещи эзков, а у них свои законы, они живут по понятиям. Заточку в бок, и дело с концом.

– И что теперь ему светит до конца срока в ПКТ не понять за что отбывать? – возмутился майор.

– Срок условно досрочного освобождения подошёл, – говорю, – но осужденный в ПКТ, а у нас практики освобождения оттуда по льготе нет.

– Готовьте документы на УДО, я посодействую, – неожиданно приказал майор.

Так впервые осужденный вышел на свободу из ПКТ по УДО.

* * *

Осужденному радиоинженеру Гунькину подкинул я идею подать на управляющую сетку чёрно-белого кинескопа телевизора сигнал от генератора, импульсно перекрывающего рабочий сигнал. Подобрал частоту и используя явление стробоскопа, делать изображение цветным. Возвращаясь из командировки. Гунькин в штрафном изоляторе. «Отмutil» клей БФ и упился.

Мне докладывают: когда сажали, он орал – мы с отрядным цветной телевизор изобретаем, а вы меня сажать. Вот приедет, будет вам!

Изддержки службы: захожу как-то в воронежский гастроном. Длинная, густая очередь. И вдруг из толпы знакомый голос:

– А ну, расступись!

И к толпе:

– Это же мой начальник, я у него сидел, – Гунькин в поддаты лезет обниматься и добавляет любопытствующей очереди: – Не стоять же ему в хвосте.

* * *

Принюхавшись к кирзе ботинок и сапог, портянкам и хлорке, специфическому мужскому запаху робы, начинал я ощущать этот мир привычным. Это потом, когда Юра Фоменко уедет в московскую академию МВД, служба окончательно загадится бестолковостью требований не разумеющих работы по преобразению личности. Народ нахлынет, чуждый делу. Интерес отодвинется на задний план, останется режим-

ная тягомотина. «Кому она, чужая жизнь, интересна и что в ней такого особенного, чтоб я на неё жизнь и время тратил», – говорил блатно устроенный молодняк агрономов, зоотехников, специалистов лесного и локомотивного хозяйства на работу с людьми.

СЛУЖИВЫЕ

Прапорщик Пономарёв, а попросту – сосед Серёга, как-то поделился:

– Тесть в Подгорном на тракторе весь ливер отряс и, недотянув до пенсии, помер, а мы тут придуриваемся. Это что – правильно?

Не знаю, как устроена капиталистическая российская тюрьма сегодня, вчерашняя советская декларативно держалась на двух столпах: ограничение свобод с поражением прав режимной службой и преобразование личности наказанного политической службой. Возглавлял «оркестр» кнута и пряника дирижёр – начальник колонии. Он приходил на утреннюю планёрку в зону. Заместитель его по политико-воспитательной работе капитан Юрий Фоменко, рекрутированный из инструкторов РК КПСС, командовал: «Товарищи офицеры». Мы поднимались: «Товарищ полковник...»

Выслушав доклад, полковник Вершинин затеял длинную импровизацию на тему улучшения воспитательной работы и соблюдения режимных требований. В своём штабном кабинете за зоной он неотрывно смотрел в окно; выслушивал и отвечал, не прерывая созерцания. А ещё любил, сидя в начальственном кресле, класть левую ногу поверх правой.

Охраняла тюрьму рота – подразделение внутренних войск. Рядовые с оружием, срочники окраин СССР, на вышках по периметру, прапорщики-контролёры – в зоне. На контролёров возлагалась ответственность за соблюдением режима осужденными. Фактически они подчинялись командиру роты, формально – заму по режиму. И выходило так, что ведущая роль в тюрьме принадлежала политико-воспитательной части – «прянику».

Ротные себя считали полноценно военными, нас – ряжеными. У них на плацу роты проводились строевые занятия, стрельбы на стрельбище, строевые смотры и политзанятия. Ротные офицеры подтянуто-щеголеваты, их доклады кратки и понятно-чётки. Мы же португеею, а тем более хромовые сапоги не носили, строевые навыки после армии подзабыли, шинели на нас сидели по-бабы неуклюже.

Как-то летом нагрянуло наше управленческое начальство. Занятия проводить. На территории роты пистолетное стрельбище. Выполнение упражнений закончили досрочно после того, когда с руководителя стрельб слетела простреленная фуражка. Началось метание гранат. Лететь необходимые метры гранатам никак не хотелось. Подошёл командир роты, щеголеватый астматик капитан Евгений Косарев. Иронично поглядев на наши старания, выкрикнул:

– Рядовой Нурмахуддинов, гранату!

– Есть гранату! – отчеканил солдат.

Граната легко взвилась высоко вверх и, описав дугу, ударилась о край поля. Подскочив, скрылась в кустарнике...

* * *

Байка ходила, правда или нет – не знаю: заглох у Косарева служебный мотоцикл на главной площади Рамони. Подошедший поинтересовался: «Что ж собираетесь делать?» «Толкай», –скомандовал Женья. Мотоцикл с помощью подошедшего завёлся.

Узнав однажды на одном из совещаний в президиуме помогшего ему мужика, толкнул соседа, указывая взглядом:

– Что за мужик? – поинтересовался.

– Хозяин района, – просветил офицера сосед.

Прапорщиками набирались в роту мужики из окрестных сёл. Ступинские, нелжинские, пчелинские, рамонские, графские. Кормились тюремной работой, и не только ею. Дома держали, как все и везде в СССР, скотину, потому шинели их частенько были в сенной трухе. Зимой на службу ходили пешком. И со службы. Ходоки!

Шутили они всегда грязно, по-тюремному. Если бы кому-то пришло в голову на время переодеть их в одежду охраняемых, отличить, кто есть кто, было бы невозможно. Спустя много лет пенсионеры службы говорили: не «в магазин пошёл», а «в ларь на отоварку».

* * *

Адольф Степанович, прапорщик из Ступино, по поводу странности своего имени не лукавил: «Немцы уже в Задонье вели бои, мать с перепугу Адольфом назвала».

Идёт он с нарядом по КСП (контрольно-следовая полоса – тропа между рядами колючей проволоки) и находит рубль. Кладёт находку в кар-

ман. Зэк кричит ему: «Рупь-то оформшмаченный (к нему прикасались зоновские «нечистые»), Степаныч». «Рупь он и в ж... рупь», – ответно выкрикивает прапорщик.

Служба выгодно отличалась от колхозной жизни: пенсия раньше и солидней, меньше износ организма – не в тракторе же ливер оттрясать, чтоб потом пенсию на таблетки тратить. Кто помоложе, перебирались с семьями на жительство в посёлок. Водку пили ротные и наши офицеры своей «копной», прапорщики своей.

* * *

Большинство служивых рано поумирало. Редко кто от возраста. ДПНК (дежурный помощник начальника колонии) и контролёры дежурили и ночами, и днём. Ночью, чтоб не спать, чифирили не хуже сидельцев. Некоторые выпивали. Выходили за зону пьянствовать в прикормленные точки.

Особенно трудно приходилось оперативникам. Брос – попытка забросить с воли через ограждение (целое инженерное сооружение с сигнализацией) спиртное, курево, жратву, деньги. Оперативники бросы перехватывали и уничтожали. Сначала спиртное давали местным любителям на пробу. Если образцы проходили пробу, уничтожали сами.

Так погиб, в общем-то, хороший душевный человек – начальник оперчасти майор Верещагин Пётр вместе с красавицей женой Валентиной. Жаль, конечно. Особенно когда на моих глазах бывший зэк отловил измотанного и отощавшего от употребления Верещагина в своём курятнике, выволок его за шиворот во двор и, выдернув из-под полы курицу, замахнулся. Пётр плаксиво попросил: «Не бей, Василь Иванович».

ДПНК Леденёв почти всю ночь на дежурстве держал около себя кружку крепко заваренной жидкости. Почти земляк, родом из-под Орехова Курской области – родины моего отца – ушёл он, едва выйдя на пенсию.

* * *

В десятом с аномальной жарой году решил я на велосипеде рвануть по волгоградским степям. Доехав до Анны (*поселок в Воронежской обл. – Прим. ред.*), звоню в Новохопёрский район Юре Фоменко о том, что сейчас в Анне, что буду в гости к вечеру.

– У тебя там, видно, много дел, – ответно кри-

чит Юра в трубку. – Хорошо, будем ждать. Второй дом от дороги. Я машину выгоню на улицу для ориентации.

Вон «жигулёнок» у ворот и дом второй от дороги. В тени автомобиля собачка с любопытством смотрит на моё приближение. Любопытство сменяется настороженностью, верхняя губа приобнажает зубы.

– Это вот ты зря, – говорю я негромко собачке. – Хозяин с самого обеда ждёт меня, дожидается, а мы тут с тобой войну с собачьим брёхом затеем.

Обращение моё собачке понравилось. Она спрятала зубы, вильнула хвостиком и теперь уже со вниманием смотрела на меня, явно ожидая продолжения. Я был на месте, спешить особо мне сегодня было некуда.

– Ну, пойдём, показывай – как вы тут? Собачка потрусилась к воротам. Большое, ладно скроенное хозяйство: если уж дерево, то дуб, если уж металл, то рельс. Откуда и как его приволокли в эти безрельсовые степи? Огород называть огородом кощунственно, это угодья. Гудит насос, перегоняя из скважины влагу под огурчики и помидорчики. Косяк уток слоняется с громкими криками-кряками по двору. Давай, мол, хозяин, жрать, а то нам некогда.

Во всём размеренность, во всём предсказуемость. Никаких тебе авосей. Даже циркулярка с тройным запасом мощности и прочности. В голову лезет – «сыр в масле... кисельные берега и право сильного». Обнялись, разглядываем друг друга.

– Постарел...

– И ты... столько ж времени прошло! – тискаем мы друг друга в объятьях.

Пробуем восстановить тот год, когда виделись в последний раз, но к единому мнению прийти трудно. Одно наползает на другое, у каждого свои событийные отсчёты.

– Ты как позвонил в обед, стал я думать; что же это ты там в очередной раз придумал. Предполагал всё, только не велосипед. Даже подумать об этом не мог. А машину я правильно выкатил? – приходит он в себя. – Изобретать не бросил?

– И изобретаем, Юр, и много чего ещё творим. Что по доброй воле, что по необходимости. Помеял не философию, то есть вообще, а частности, тактику подходов к проблемам. Да поговорим ещё... Пруд далеко? Просолился весь!

Чуть ли не от каждого дома селения Подгорное в тихую речушку Елань уходит мостушка – выбирай не хочу. Выстирав свои доспехи, долго наслаждался прохладой влаги. Усталости как не бывало! За ужином под водочку задал вопрос, на который иногда отвечают, иногда нет, и это нормально: «Как вы тут?» Юрий Николаевич заметно

занервничал. С вечной иронией в интонации по-дамски вальяжно ответила его жена Нина:

– Да уж, как-нибудь, что-то получается, что-то не очень...

И смысл, и интонация, и подтекст. О том, что молодость нашу унесло временем и что обсуждать сейчас наболевшее нет никакого смысла, что разнесло нас пространством, и та общность, которая нас когда-то объединяла-сближала, куда-то подевалась, и видим мы теперь одно и то же по-разному. Он протянул мне руку, я подал свою. Мы долго смотрели глаза в глаза. Так высказалось всё то, что словами-то и не выразишь. Разлив по стаканчикам водку: «За тебя, за этот вечер, за эту встречу», – предложил Юра.

Выпили. О тюрьме не вспомнили ни разу, как не было. Потом, найдя возможность, Нина шепнула мне: «Тонкий он человек, вот и мается. Выйдет вечером за ворота, в поле смотрит, долго смотрит. Или запьёт на неделю, а то на меня накричит».

Утром на их «жигулёнке» махнули в недавно отстроенный монастырь.

«К вере народ потянулся, – заговорил Юра на подъезде, – деньги на строительство жертвует...»

– Ты много отстегнул или ещё не проникся?

– Не проникся, – в тон ответил он.

– И не проникнешься. Спереть негде и нечего, всё разворовано. Остались взятки и банковские махинации с бюджетными деньгами. У тебя к этим сферам доступа нет. Одна забота – дать уткам корм да на ночь свет погасить. А грехи пусть отмаливают те, у кого есть возможность грешить. Они и проникаются, и отстёгивают. А вера тут вообще ни при чём, как литой крест и якорная цепь на шее толстосума.

Оглядеть монастырь и пообщаться с настоятелем не смог. Как зашёл в книжную лавку, так там до конца и пробыл. А хотелось.

Отобедали. Уже прощаясь, спросил о месте, где предположительно находится знаменитая новохопёрская аномальная зона. Нина Петровна, сведущая во всех делах: «Крутой подъем дороги и геодезическая вышка справа, там и эта зона», – сказала.

Юрий Николаевич вызвался проводить. Я вёл велосипед. Шли и говорили о родителях, об отцах, о его начальственном родственнике Николае Максимовиче, с которым и меня в молодости сводила судьба на педагогической ниве. Он умер, так и не осуществив мечту жизни приехать в родную деревню из Воронежа на «Волге». Для осуществления этого плана купил где-то по случаю ржавь. Скрёб и красил по частям, запихивая готовые детали под кровать, потом любовно собирал, но на подъезде к родной деревне аппарат встал намертво! Приво-

лок он его тогда во двор трактором, натерпевшись стыда и унижений...

И о том, что если строго следовать формальной логике, то, выходит, никакого смысла в нашем существовании нет, тем более его нет во всеобщем эквиваленте материальных ценностей – в деньгах. А радости, это организованные нами преодоления. Как только они заканчиваются, наступает смертная тоска, а проще говоря – смерть...

Говорить на эти темы мы, и в пору нашей молодости, и сейчас могли часами. Подошло время прощаться. Простились на мосту через Елань. Глядя в её воды, Юра задумчиво пофилософствовал: «Три больших карпа жили под мостом, людей не боялись, почти из рук пищу принимали, все любовались ими. Пришёл мужик с ружьём, и не стало рыб...»

И вдруг вспомнил о моём интересе к аномальной зоне. «Заночевать хочу там», – отвечал я ему. Юра протянул руку и, как вчера за столом, крепко сжав мою, долго смотрел мне в глаза молча, потом просительно: «Ты на обратном пути заедь...» Через год его схоронили.

ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Зэк – он прежде всего человек, он на доброе слово отзывчив. Получив по горбу, понимает – это проще, чем лишние бумажки в личное дело. Так, хоть и не всегда, выстраивалось взаимопонимание. Называлось всё это мерами воспитательного воздействия.

«Пряничность» очень разной была. Тюремному и управленческому начальству важнее всего было поддержание и сохранение управляемости и дисциплины. Не секрет, как люди, так и отряды были очень разными: и образцовые, и так себе, и гадюшники, и вольница казацкая с засильем блатарей. На общем режиме держать отряд увещеваниями сложно. Потому правильный баланс поощрения и наказания решающ.

Капитан Конинский, как и все отрядные, всегда держал при себе папочку с документами. Вот её-то Александр Федотыч и пускал в дело. Не доставал он из неё ни ручек, ни бумажек, а ласкал самой папочкой с бумажками, на погляд невесомыми, по горбушке виновного. Так бы оно так, да лежал в ней кусок древесной плиты в размер форматистой папочки. Мог и душевно Федотыч поговорить, за что подопечные к нему относились с уважением. Но это потом...

* * *

Сдаёшь очередного нарушителя на пятнадцать «дён» дежурному в штрафном изоляторе, а он по-отечески участливо интересуется: «Опять, милочек, приборзел. Ничего, ничего. Будешь ты у меня через полмесяца тонкий, звонкий и на слух внимательный». – «Ладно, дядь Миш, пугать-то, – не молчит наказанный, – пужаные. Плесни лучше чифирьчику, пока шмонать будешь». – «Ты мне, племяшок, не командуй тут, – ворчит миролюбиво дежурный, ощупывая одежду нарушителя, – а то макну в шестую камеру к педерам, остаток срока будешь спать у параша...» Диалог обыден, как и вся тюремная жизнь.

* * *

Но было в этой работе то, что меня всегда притягивало и продолжает притягивать – живая душа человека. В критических ситуациях она лучше читается. Померла тюрьма, как и многое другое в нашей стране, в приснопамятное горбачёвское правление. Взревела, будоража напоследок посёлок, тюремная тревожная сирена. Вагоны с остатками спецконтингента выволокли тепловоз за тюремные ворота, снялась охрана периметра и проходной. Так с прежней жизнью посёлка было покончено. Началось, как во времена атаманов, разграбление учрежденческого имущества...

Гуляем как-то с внучкой по окрестностям.

– Дедушк, а это что?

– Вышка, – отвечаю.

– А зачем она?

– Там солдатик должен стоять.

– А зачем он должен там стоять?

– Охранять.

– Почему нет солдатика на вышке?

– Охранять нечего.

– Давай что-нибудь положим. Пусть солдатик охраняет...

Те, кому кажется, что тюрьма и справедливость как-то связаны, глубоко ошибаются.

НЕПУТЁВЫЙ

«Ты там как?» – шёпотом спрашиваю у ветра, у неба, у солнца.

«Сыро тут в земле-то, кости зябнут», – то ли ветер, то ли небо едва слышно...

Общение в посёлке было не только профессиональным. Дружба заводилась и с местными на основе общности интересов и просто симпатии.

Брызгин Юра из Вологды мог часами рассказывать о жизни леса, деревьев и обитателей. А ещё мы оба были конструкторами. Ему интересно было наблюдать мои выстукивания молотком задуманного. И он торчал у моего верстака часами, на что его Нинка мне выговаривала: «Ты что, ему там мёдом мажешь, что ли!» Он знал, где и какой гриб появляется первым. За грибами тоже ходили вместе. Но были у меня друзья, с которыми видеться я мог раз в несколько лет. И... – хватало.

Перед Пасхой вся светлая Русь, следуя какому-то особому небесному зову, в противоречие церковным установкам идёт на кладбище «прибираться». Даже человек нерадивый, отпетый атеист, глуховатый к зову свыше, кричит и, откладывая, точно знает: идти придётся, иначе люди «глаза повыширивают».

Уже прилично отойдя от дома, я с досадой обнаружил, что иду без граблей. «Э-э-эх! – загорился, – чем же подгрести и собрать мусор? Без граблей-то никак не получится». Но успокоил себя, решив зайти за граблями к давнему приятелю Витьку, благо дело – живёт он недалеко от конечной точки и по пути зайти к нему не составит труда.

Витёк здесь родился и вырос, а я – я чужак, и как он как-то сказал: «навсегда». Коренастый, в кожаном пальто, с шапкой вьющихся волос ходил он по деревне с шелестом шепотков за спиной: наблудился по сибирям-то... жениться и то ему некогда было! Во как сибирскую целину-то поднимал-перепыхивал!

Витёк не отказывался, не отнекивался, соглашаясь, что потрудиться пришлось, что бабья там навалом, да мужичок в тех местах поизмельчал, от водочки обезмочил. Как не помочь!

Лет пять после знакомства общались по касательной – от случая к случаю. Изредка заходили друг к другу, расширяя уровень общения, но по-настоящему сблизил лес. Здоровяк почти по-былинному, он мог долго держать высокий темп ходьбы. Несмотря на десятилетнее старшинство, подхватывал он частенько и мою сумку с лесными дарами, если маял меня радикулит, и тащил своё и моё, не чувствуя усталости.

В лесу, за продолжительными и углубленными в предмет разговорами, мы стали лучше понимать друг друга. Узнали, что можно допустить в общении, чего нельзя допускать ни при каких обстоятельствах.

Было в нём много детскости в мировосприятии и легкомысленной шаловливости; что-то от игруна и скомороха. Скакал он всю жизнь и в обыденности, и в разговоре от одного к другому, ни на чём особо не задерживаясь. Из-за это-

го отношения к жизни и проходил он всю жизнь по-пацански Витьком.

Идём как-то мимо психонерво... интерната – враз не выговорить. Обслуживаемые – больные на лавочке сидят. Витёк им по-генеральски выкрикивает-паясничает:

- Здравствуйте, товарищи дураки!
- Умный, что ли, – глубокомысленно отозвалось с лавочки.
- Съел?! – подначил я тихонько Витька.
- Он так же тихо:
- Им палец в рот не клади, народ тот ещё.

Выйдя на мой стук, радостно суетится:

- Ну, наконец-то!
- Пошел прибраться на кладбище, а грабли забыл. Зашёл вот.

– А чего их таскать туда-сюда? Всё равно идёшь мимо, лишний раз поговорим.

На подобию забора из гнилья досок и веток стоят опёртые грабли. Беру посмотреть. Ручка подпрела, железо болтается. «При таком выборе и это сгодится», – подумалось. Витёк отбирает из моих рук инструмент и, ставя на место:

– Успеется с кладбищем-то, и на кладбище всегда успеется, проходи, – многозначительно сказав, ведёт он меня через захламленный железом коридор, через чугуны, кастрюли и скопления стеклянных банок на полу.

После последнего посещения, а был здесь последний раз года три назад, захламленность резко увеличилась. «Пьёт, – подумал, – стареет». И заговорил скорее формально, чтоб не молчать. Знал, если инициатива говорения перейдёт к хозяину, то грабли мне сегодня уже не потребуются:

– Самогонный аппарат раньше-то упаси бог на виду оставить, а у тебя...

– А зачем и от кого его прятать – фляга с электроподогревом. Мало ли для каких нужд, – обрывает мою попытку взять верх Витёк. – Года два назад купил мешок сахара, продукт стратегический, порче не подлежит, да в нём дрожжи не работают. То ли Ельцин тогда чего велел подсыпать в наш свекольный, то ли Фидель в свой тростниковый. Оба коммуняки старые, народ дурить привыкшие. Мы с тобой в одной деревне живём, видимся редко. Нам бы сейчас не помешало чего-нибудь налить, а им до того и дела нет. Думал, дрожжи виноваты. Проверил – работают.

– Приглуши, – киваю на бубнящий телевизор.

– Эт мы ща, – ёрничает Витёк, выключая подобранный на свалке аппарат.

Благо дело, ставя сегодня около мусорного контейнера надоевший телевизор, на верхней части

корпуса мелом пишут «исправен». Или ничего не пишут, что тоже информативно.

– Втроём не разговор – базар. Это там нынешние глашатаи про успехи да про наш рост благосостояния вещают. Интересно, когда они КПСС кинули, куда свидетельство партийной принадлежности-то затолкали? Вякни кто из них чего-нибудь даже при сонном Брежневе! Поменяли б ему партийный билет на волчий, до сих пор бы улицы мёл! Они тогда тихо все сидели, ходили по струнке! Помнишь частушку?

*Поменяли хулигана
На Луиса Корвалана...*

Во как! Вякать против властей, оно, брат, что против ветра... Пиночет тогда своего «крикуна» нам, а мы им своего – Буковского – как часы на трусы. Зато всегда выгодно вместо бумажки язычком, язычком с хозяйским задом холуям управляться. Ненавижу за это чиновничий сброд. У них ведь иного пути, как в тварность, нет. Самый деклассированный элемент. Не успел Ельцин анафему компартии пропеть, они уже сопят-трудятся, другому идолу молятся. Вот тебе и идейность!

При Сталине они нас из ружья во имя чистоты мифических идей постреливали-выслуживались. Одолей Гитлер, ему б служили. Сейчас – великие демократы. Китаёзы вон прут, скоро весь мир подомнут, и заметь – не идейным рычагом, экономическим.

– Перебор, по-моему, получается, Вить. Чиновничий класс сложился давно – от писцов древности и наших приказных изб. И как без них-то? Они, страдалыцы, больше всего пуль получили от наших социалистов-революционеров, заложивших начало терроризму. Потом ЧК и НКВД их добивали. Только потом власть советов поняла, что без них никак.

– Никак, – соглашается Витёк, – но не решать они должны, а исполнять. Ведь от ихнего «да» или «нет» жизнь невпродых становится. И идейность, которой их коммуняки наши наделили, совсем им ни к чему. Наш Ельцин почти восемь лет мосол идейности обгладывал, в иную веру обращал или вид делал, чтоб легче красть было. Даже войну для этого затеял.

Витёк возмущённо смолкает и задумчиво смотрит в окно. Шапка седых вьющихся волос, никогда не видевшая над собой насилия головного убора, а по-моему, и гребня, местами желтизной подёрнулась, торчит пуклями. Я тогда ещё подумал: «Вот так всегда – берёт словесную инициативу в руки и до конца не отпускает...»

– Археологом хотел стать, курганы раскапывать, – не отрывая взгляд от окна, как на исповеди – медленно и раздумчиво, делится он сокровенным, – тайны узнавать. Охочий я до тайн сызмальства. Детство-то на войну пришлось. Бедокурный был! – нет спасу. Приезжали с передовой офицеры. Ели мамину стряпню, с ложками в руках, кто как сидел, так и засыпали. Вынимал я тогда у кого-нибудь пистолет, доставал магазин, выковыривал и в рядок выстраивал патроны на столе. Иногда попадало серьёзно. Те, кто постарше, только по головке гладили да вздыхали, своих пациентов, видать, вспоминали.

Мишу с Машей хорошо запомнил. Были они ещё совсем молоденькие, а уже офицеры, муж и жена – лейтенанты медицинской службы. Мне их пайковые сладости доставались. Маша за вещами приезжала. Мишу у Новожиотиновской переправы, сказала маме, закопали. Сама уже не плакала, только губы её искусанные корчи сводили. Зачем всё это так хорошо помню? – ума не приложу!

День и ночь из Рамони по железной дороге подвозили раненых, помню. Стоны, смех помню, плач помню... всё вперемешку: бинты, обрывки тряпья – по узлу на рану... всё в крови. Каждый день санитары несли в лес на носилках умерших хоронить – тоже помню. Малую часть потом перезахоронили. Теперь всё в лесу заровнялось, – по лицу Витька прошла судорога, – слаб стал... на слезу слаб... говорят – возрастное.

А в археологи не вышло. В музыканты пошёл. Сибирь вдоль и поперёк. Зыряночки там хороши, ох, хороши! Ещё такой красоты нигде не встречал.

– Чего ж ты зыряночку сюда-то не привёз?

Витёк меня тут же, как несмышлёныша, вразумляет:

– Они только по обличию разные, а так – бабы и бабы. В нашей библиотеке наткнулся на писанину одной феминистки. Ох, она нас там! А в каждой строчке тоска по мужику слышится. Это Чернышевский тему раздул, Ольге Сократовне, так, по-моему, жену его звали, голову забил свободой отношений. Потом в письмах Белинскому плакался: как, оказывается, при плюсах свободы отношений тяжело друга семьи переносить. Думаю, Чернышевский просто переоценил свою неотразимость и незаменимость, Ольгу Сократовну переобожествил. Сам виноват. Имеешь бабу, имей об ней заботу или отпусти...

Нет, эта заморозка не по мне. Рассаду я вырастил – помидоры будут, капусту посадил, огурчики. В апреле берёзового сока натаскал – вино будет. Осенью из слив. И кто мне укажет: головку мою кудрявую или ноги в грязных сапогах на подушку

класть. Спроси меня Боженька с небес: чего, мол, хочешь, Виктор Дмитриевич? Оставь, попрошу, как есть, даже корову у соседа губить не надо, хотя крови он, гад, из меня попил!

– Не раз от жителей этих мест слышал: в молодости ты концерты устраивал. Представляю, как это было красиво – рассвет и живая музыка над озером!

– Это мы с братом репетировали. Я на кларнете, брат на трубе. Теперь всё заглохло, люди кастрюли, горшки, золото-бриллианты делят. И я ни одной ноты уже не выдую. Тогда тоже имущество делили, но и про душу помнили. Свой духовой оркестр в Рамони был. Хотя и шпановатые мы с братом были, а на репетиции никогда не опаздывали. Оно ведь счастья и радости везде через край, только увидь: то от озера бы глаз не отводил, то лес – красота-то в нём, красота-то какая! – он крякнул раскатисто, показывая тем степень восторженности, и так громко, что мне показалось: ещё чуть добавить – стены его избы на четыре стороны и крыша вбок! А он как ни в чём не бывало продолжал:

– Обратил внимание на то, на сё и – наслаждайся! Денег с тебя природа никогда не потребует. Небось, не забыл, как мы заповедную сосну обхватами мерили?

– Нет, Вить, – говорю, – не забыл... ты мерил, – уточнил я.

...В тот год осень «загодилась». Ох, и загодилась она тёплыми дождями, солнышком. Тут и там повысыпали жёлтые с серым на толстых ножках опята. На пнях в траве, в осиннике, в сосняке стояли они выводками то там, то там. С пластиковыми пакетами, ведрами, корзинами ходили грибки друг за другом.

Свернули мы тогда на полянку передохнуть. Рюкзаки наши располнели, основное дело сделано, можно и перекусить, и поглазеть окрест. Ещё в пути, собирая грибы, я попросил Витька рассказать о военных событиях в этой лесной местности.

Из объёмистых карманов рюкзаков достали и разложили на ровном, как стол, пне провизию. Витек, разливая в стаканчики водку:

– Крышку гроба приподняли – чёрное лицо, погоны генерала – Иванов. Через щели в крышке другого – парашютный шёлк белеет: лётчик. Это в сорок шестом, а в сорок втором мне было четыре года. Помянем!

Выпив, Витёк медленно сверху вниз провёл по лицу ладонью. Подбородок, губы, щёки неумно сводили корчи... слёзно-сдавленно, глухим голосом:

– Что вчера было – позабыл, а это в памяти...

Лес тогда просветлел, зашелестел разноцветным жести листы, запах особенным грибным и осенним духом, умиротворился тишиной, огорождался паучьими сетями-ловушками. В мыслях, в мыслях же почему-то больше было ухода, чем возвращения, больше пространства и странной разорванности, – когда предметы и люди разнесены в разные стороны сила неодолимая, а попытки свести их, сблизить вызывают грусть и боль. Трудно совместить то и нынешнее время, люди народились совсем другие, жизнь стала другой.

– Как-то живо ощущение границ войны – вот она когда-то началась, вот она закончилась.

– Это сейчас – да, а тогда кто об этом думал! Жили и жили. Для пацанов тех лет война была всегда. Весной сорок пятого посадили нас, малышню, на полуторку и катали по селу. Видно, хотели, чтоб запомнилось. И запомнилось! Машину останавливали, нас обнимали, целовали, плакали. Давали конфетки и кусочки сахара или булочки. И так целый день. Мы слышали: «Победа, войне конец, победа...» – но эти слова не связывались с концом войны. Отец ещё не пришёл. Мать ждала, ждала и уже померла, мне шестьдесят, а отец всё идёт...

За крайними домами у Верхнего озера кольцевые впадины. Тут расстреливали своих, осужденных военно-полевым судом. Партию видел сам. Говорят, из-под Склеяева гнали. На лица смотреть страшно! Уж лучше б на месте. Ведь мужики же! – воином родиться надо! Им бы землю пахать, а их за мужичество и неотёсанность на расстрел...

Земляники в то лето было! Насобираем с мамой, несём танкистам. Немцы на своих «рамах» сколько ни крутились, ничего сверху разглядеть не могли. А я, как танки увидел – они на месте сегодняшнего кладбища стояли, сразу всё понял: сначала на танках воюют, потом ловят рыбу. Прутики-удочки к башням привязаны.

Лес тогда забили наши техникой плотно. Немцам хотелось знать: где и что. На «кирпичном» – так называют место, где работал когда-то кирпичный заводик, – приземлился парашютист. Смершевы его словили, допросили и расстреляли, а тело бросили в выгребную яму – русский был, да не наш.

Дни стояли жаркие. Под бесконечное «бум-бум» далеко над лесом поднимался густой чёрный дым: горел Воронеж, – обирая тогда с лица паутину и как лось круша заграждения сухостоя, Витёк споро шёл и рассказывал, рассказывал. – Над посёлком немцы сбили шесть наших самолётов и ни одного своего не потеряли. Качественно, сволочи, воевали...

– Говорят, – пробую вклиниться-поёрничать, – будь иным отношение к мирным жителям, не наши дороги и расстояния, да не морозы...

– Во-во! Таких вот запевал и пускали в расход за Верхним озером, – обрывает мою попытку «лить воду на мельницу врага» Витёк. – Смотри, сосна какая! Похоже, и царя Петра помнит, и войны, и кудяровых разбойников – стан тут у них где-то недалеко был, база ихняя.

Он развёл тогда руки и прижался к стволу гряды, но впечатление – обнимает стену, а не дерево, и:

– А ты знаешь, почему ни дворец рамонский Ольденбургских, ни мост через реку Воронеж немцы не разрушили? Обещано всё было Тигельскиху. Он командовал частями наступавших немцев. Пять обхватов в сосне! – закончил обмер Витёк.

Я знал: соврёт, не сморгнёт, но проверять не захотел.

– Скажи, лесной человек, почему сосна в пять обхватов одна на весь лес?

– Был ты чужак в лесной деревне, чужаком и останешься! – загорячился Витёк. – Посмотри, сколько народу живёт кругом, сколько до нас жило, сколько после жить будут, а «в пять обхватов» только Толстой, который – Лев, Пушкин да Лермонтов. Редко в лесу дуб, всё больше осинник да кустарник. Против природы не попрёшь!

Мы разошлись, обходя с двух сторон болотце. На свежей и яркой зелени мха хорошо были видны маслята. Но, как только раздвинул я ветви болотного кустарника, показались густые кучки опят. Постановивая от удовольствия, полными горстями срезал и – в сумку их, в сумку. Рядом, не сдерживая восторженных восклицаний, шуршал листвою Витёк. Если приостановиться-прислушаться, слышна божественная музыка Вечности – лесной тишины...

Припомнив обмер сосны той осенью, что «загодилась» и одарила грибами, Витёк вдруг, будто и не было никакого перерыва, паузы, продолжает разговор про генерала:

– Генерала Иванова хоронили в крашеном гробу, везли на пушечном лафете. А я пушку испугался. Даже гильзы не ходил собирать и, как хоронили, не видел. В сорок шестом перезахоранивали. Тогда-то мужики и приподняли крышку гроба... Мужиков, говорю, молчком, на носилках, а генерала на лафете. А для меня он, в моём понимании – обслуживающий персонал при человечестве. Иванов на службе состоял, пил-ел лучше, чем солдат, потому как рисковал. Солдат же – расходный материал, всегда тупее генерала, по-

этому и рисковать ему особенно нечем. Погулять вышел и сдуру на пулю напоролся.

Всё изначально перевернуто в веках властью. Я их пою-кормлю, чтоб мне спокойно жилось-пахалось, а они мне войны устраивают, потом как собаку из лазарета в лес на носилках в общую яму. Это как? Телевизор хоть не включай! Про душу совсем позабыли, не поповщиной же довольствоваться, прости меня, Господи, грешника.

Он широко перекрестил свою, никогда не видевшую креста грудь. «Стареет, нервным стал, категоричным», – подумалось.

– Ты, Вить, зря так, генерала зря, – окончательно очнувшись, перебиваю я Викторову словесную крамолу. – Ты ж теперь самый что ни на есть гегемон демократии, власть! Генерал давно не воевода. По-хорошему спроси, он действительно не знает, что поит-кормит его народ затем, чтоб он ценой своей продолжил жизнь твою. Сам же и тогда, и сейчас считает, что на работу ходит, что хорошо в жизни пристроился.

– Всё ты, может, и правильно говоришь, но... – тут же поворачивает разговор Виктор. – Санёк тут ко мне заходит – дурак из дурдома. «Умнай», спасу нет! То ли историк, то ли филолог, говорит: карандаши самому Гордейчеву, поэт который, очинял. Всё про Наполеона знает! – всех его генералов в подробностях – защищаться хотел по этой теме, да в психушку попал – переучился, видать, или наука не по уму тяжелой оказалась. Ты думаешь, у него душа не бунтовала, когда «из князи в грязи»? А у народа при коммуниках? – опять раскрывается-распалывается Витёк. – Природой заложено приспособляться: нам к властям, властям к окружению, Саньку к дурдому. А чё, Санёк говорит, в психушке кормят, одевают, деньги дают, а если при кухне...

– Во, вот и дуй к нему в пару на кухню! Правильно ты всё понимаешь, а как понесёт тебя старческая дурь!

Но уши мои Витёк не жалеет, про грабли, за которыми я зашел, хоть не заикайся! «Успеешь», – надоедливо, раз за разом повторяется хозяин. И без излишних ссылок переводит разговор то в одно русло, то совсем в другое.

– О Гумилёве слышал?

Я ёрничаю:

– Который на Поляне дачи сторожит?

– Да. Сынок его мамке задолжал, да возвращать не хочет.

Хохотать Витёк начинает сразу, по ляжкам себе хлопать и, резко приняв вид деловой и серьёзный:

– Двух Гумилёвых следует помнить. Николай, муж Анны Ахматовой, поэт, ученик Валерия Брю-

сова. Я о Брюсове слышал так: культурный поэт, а вот что это означает, понять трудно. Может быть, набор универсальных качеств, тогда многих можно отнести в этот разряд. Николая в двадцать втором или первом большевички расстреляли, а в начале девяностых сами себе харики сделали. Байка потом ходила: конвойный в камеру – который тут поэт Гумилёв, выходи. А в ответ: нет поэта Гумилёва, есть офицер Гумилёв. А всерьёз – даже Горький ходил к Ленину за него хлопотать. Как там, у Белинского: хорошие поэты долго не живут? И с Анной у них ничего, кроме сына Льва, не получилось. Когда Льва посадили, она «Реквием» написала.

*Перед этим горем гнутся горы,
Не течёт великая река...*

И:

*Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла...*

Едва слышно произнёс Витёк последние слова, икая и давясь спазмом. Утёр кулаком слезу и заметно повеселел:

– Хорошо, зашел поговорить. А если всё знаем, что ж нам, молчать, что ли? Большевички в двадцатых кого расстреляли, кого за границу выперли, чтоб остальным думалось так, как надо думать, а не как кому вздумается. Элита общества, говорят, тысячелетие складывалась, разом всех под корень – ума не надо. Как дальше жить, вот вопрос...

Достал из-под стола банку, разлил в стаканы мутную жижу с тёмными лопухами каких-то трав. «Ну, понесло, – невесело подумал я, – до граблей теперь очередь не скоро дойдёт».

– Это берёзовый сок, прошлогодние сливы, мята. Хотел чагу добавить... Этому добру настояться бы... ну, бери!

Оглядываю жилище. Всё как всегда: оленье рога на прокопчённых стенах, пни вместо табуреток и два до черноты крепко просаленных на бойких местах кресла. Только древплита по низу стен – новое.

– Никак мёрзнешь? – киваю на новшество.

– Осенью обил. Воду забудешь вылить – мороз ведра рвёт. Одеало у меня толстое. Мало – периной укроюсь.

– Странно мне, Вить, всё это... вроде в лесу живём... и печка у тебя есть.

– Ох, – вздыхает Витёк, как бы перевернув пластинку на весёлый лад, – притчу тебе расскажу: мать померла, остались два брата, дети её. Один

ленивей другого. «Свези меня, брат, на кладбище, – говорит один другому. – Мне такая жизнь не по нутру». Везёт брат брата на кладбище, навстречу барин в тарантасе, что да как расспрашивает братьев и, узнав, в чём дело, протягивает сумку сухарей. Брат с телеги: «А они мочёные?» «Нет», – отвечает барин. «Не, не нужны! Уж вези меня, брат, лучше на кладбище!»

Мне под его мерную «молотьбу» хорошо думается, но грабли и кладбище из головы не идут. На мои напоминания он не обращает внимания или делает вид, что ничего не слышал. Выдержав соответствующую паузу, Витёк сам над своей притчей хохочет, бьёт себя по коленям руками:

– Какие только присказки народ не сложил! Да ты бери, бери...

Обижаться на него бесполезно. Я беру залапанный жирными пальцами стакан, смачиваю губы: слегка сладит, кислит... а Витёк, приняв странную жидкость и вытерев губы, продолжил:

– Лев Николаевич Гумилёв и в лагерях посидеть успел, и докторскую защитил, и по-своему объяснить движение народов в нашем ареале, и словечко придумал интересное... ну, как его?

– Пассионарии, пассионарные толчки...

– Во, во же! С тобой говорить одно удовольствие. Славяне, то ли их вышибли, то ли ещё что, с Дуная пошли сюда; финны и карелы с Урала двинули на северо-запад, Аттила с причерноморских степей нагрянул топить в крови Европу. Младший Гумилёв по образованию историк?

– Доктор он, по-моему, географических наук, но точно сказать не могу.

– Историк он сильный и своеобразный. Всё закономерно: и Санёк в дурдоме, и Россия на дыбы! Пойди разбери – мы управляем или это нам только кажется. А может, нами управляют? А мы ещё своим хилым умом понять хотим: кто умный, кто дурак! Судьба-а! – Витёк наливает себе ещё:

– Ты что не пьёшь? Хорошая штука! Бывало, налетит орда, обопьют, обожрут. Разговоров... до рассвета! А я очень люблю умные разговоры послушать. Молодой когда был, костюмы себе на заказ шил дорогие. В приличное общество был вхож, а в нём знакомства, общение. При тебе у меня тут преподаватель с лесотехнического, лектор-международник стихи Некрасова и Пушкина читал. После того как дачу продал, больше не появился. Умный мужик был!

Стареем. Днями иду – соседка на крылечке сидит. Поздоровался, а она меня останавливает и спрашивает: ты чей будешь? Сосед, говорю, ваш я. Запричитала, заохала. Зажилась, говорит, ослепла и оглохла, говорит, а всё живу, говорит. Вы,

говорю, Бога не гневите, а то накажет, бессмертной сделает. Вместе и посмеялись. Всю жизнь одна. Мужик её, как и мой отец, погиб в войну. Мы с её сыном Костиком безотцовщиной росли. Но до чего ж судьба на сюрпризы горазда! В армии сапёром был, искал и копал под Ленинградом, где отец погиб. Не поверишь – везде земля там от металла пищит. Может, и его косточки в руках подержал! – Помолчали. Витёк неожиданно спрашивает опять совсем о другом:

– Поэта Самойлова-то давно видел? И виделись мы с ним всего раз, и не глянулся он мне ни с какой стороны, а интересно, как он?

– Зимовал в богадельне, в Глушицах...

– Что-о? – округляет глаза Витёк и, согнувшись пополам, заходится в смехе или изображает смех, бог его, артиста, разберёт. – Самойлов с бабушками, волк в овчарне, божий одуванчик, поэт в клетке! Это кому ж в голову пришло, а? Как там у Блока?

*А вот у поэта всемирный запой,
И мало ему конституций!*

А тут к бабушкам, помирать, значит, – посерьёзnel Витёк. – Поэты, они все повёрнутые – что Пушкин, что Лермонтов, что Есенин, что Маяковский. Да любого возьми – им свобода нужна, преодоление им нужно, любовь без ответа, даже отшельничество. Особенный это народ. Как тут опять Блока не вспомнить!:

*За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Здесь жили поэты – и каждый встречал
Другого надменной улыбкой...*

Витёк опрокинул питьё в рот, макнул пучок лука в солонку, зажевал выпитое и, махнув рукой каким-то своим мыслям, закончил:

*Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, –
Я верю: то бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала!*

Разжёг он и меня. Я, чтоб не оплошать, попытался продолжить первым, что пришло в голову блоковским: «Под насыпью, во рву...» Витёк налетает коршуном:

– Не, не, не, – машет он руками, – стихотворение хорошее, но с политикой: жёлтые, синие... Во, вот!

*Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел её голос, летящий в купол...*

О, чёрт, память, – он стучит ладонью по лбу, – стареем, тупеем... как же там последнее четверостишие-то? Ага, вот:

*И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, – плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад.*

Он патетично застыл, театрально склонив голову вниз и немного вбок, и, будь это дирижер оркестра, наверняка бы взмок в этой точке от напряжения.

Я засобирился. Витёк по-детски занудил о трудности жизни без общения, занудил о том, что стены съедают, что ночам конца нет, что в жизни всё временно и временно, что только там хоть и глухое, а постоянство...

Проводив меня за ворота, первый спохватился напомнить:

– Грабли-то, грабли...

Сколько ж лет прошло с тех пор? А есть ли оно, время-то, или это выдумка философов и всё происходит сейчас – и вчера, и сегодня, и завтра – сейчас...

Трудится на сухостойной сосне юркий дятел. То, как в раздумье – тук... тук... тук... То вдруг зачастил редко прерываемой дробью: та-та-та. Сосна древесно кряхтит от легчайшего дуновения. Наляжет ветер посильнее, и она, крякнув, зашелестит, цепляя соседей, наберёт разгон и хряско ударится о землю. Сила упругости ствола высоко подбросит комель и, ломая последнюю сушь веток, уляжется она на вечный покой так, как предписано ей природой и лесным законом.

Пожила на свете, голубушка, погрелась под зимними снегами, помлела под весенним солнышком. От её пыльцы во время цветения шли зелёные дожди, а из семян её шишек поднялись кругом тоненькие щупленькие детишки. Если лесные звери или человек не успеет повредить их, устрелят они свои верхушки в бездонную синь неба...

* * *

Стояло лето. Свернул к знакомой калитке. Поперёк диагонально палка, калитка оторвана и прислонена к соседскому забору. Кругом хаос некогда вещей, раскиданных как попало.

– Ты уже совсем забыл сюда дорогу, – увидев меня, сказал Витёк с укоризной и скрылся в тёмном провале сеньей. Как знал, что не пойду за ним, – вынес на улицу стакан, водку, соль, лук...

– Грабли вон, только ручка совсем сопрела. Слышал и знаю – жив. Значит, есть с кем поговорить! Это я не о тебе, это я о себе так забочусь, – и дурашливо захохотал, наливая водку в захватанный стакан. – Не дай бог что! Кому смогу рассказать, а главное: кто правильно поймет, о чём я.

– Чем жив? – спрашиваю.

– А ничем, – ответил, сникая, и добавил:

– Снится хемингуэевское «Снега Килиманджаро». Чудная вещь, скажу я тебе, чудная! И шакалов слышу, и птиц-стервятников вижу, и выпить, как той бабе, хочется, и южная ночь опускается, и самолётик маленький-маленький на огромную вершину снегов летит, летит, и – куда ни глянь, всё белое. Жить мне больше незачем... что есть, что нету...

– Подвязал бы с питьём-то...

– А зачем?

По давно не бритому лицу, выжавшись из глаза, побежала слеза, да так в щетине и застряла.

Вскоре в деревне слухами прошелестело: «Как жил непутёво, так и помер – непутёво». И позабыла Витька деревня – так позабыла, как и не было его на земле. А я наказал себе: «Грабли, грабли-то теперь...»

«Ты там как?» – шёпотом спрашиваю у ветра, у неба, у солнца.

«Сыро тут в земле-то, кости зябнут», – то ли ветер, то ли небо едва слышно...

ЛЕСНЫЕ ЛЮДИ

Кипела в этих местах и иная жизнь: дотюремная фабрика в военную пору изготавливала деревянные детали для самолётов, в лесу заготавливали лесники смолу-живицу. На стволах ещё многих сосен виднеется высокий ряд косых срезов-углублений – под углом вниз, валяется около стволов множество конусообразных жестяных стаканчиков для сбора живицы.

Ближе к озеру, в котором, по преданию, отмачи-

вали парусину для первых петровских кораблей на ступинских верфях, размещался «химзавод» — по сути, огромный самогонный аппарат. Сюда свозили вырванные аммоном пни, топили из них смолу, гнали скипидар. На этом месте долго ещё валялись проржавевшие мятые металлические конструкции, пока в лихолетье всеобщего обнищания конца двадцатого века не сволокли их люди в приёмные пункты металлолома. Ещё напоминало отсутствие то пальца, то глаза, то руки у коренных жителей о том, что некогда в посёлке хранили аммонал, напоминало о сладости запретного плода.

В самом лесу ещё долго сохранялись крохотные островки своеобразной цивилизации «десантировавшихся» в эти места добровольцев, оттоптаные зимой следами зверья на снегу в поисках пищи, а летом благоухающие в идиллической зелени. Лесная цивилизация поразила меня своим своеобразием не меньше, чем тюрьма.

Здесь жили и работали работники леса, доживающие теперь здесь же пенсионерами «от некуда деться». Послевоенное бегство из колхозов загнало людей в эти места. Вологодские, липецкие, белгородские, с Украины и Белоруссии. В лесу-то, да без начальственного догляда, можно было разделять огород большой, чего нельзя было делать на прежних местах проживания. Складывалась ситуация: рядом пустошь, но больше положенных соток распахать ни-ни. А то, не дай бог, кулак из строителя коммунизма получится! Огород тогда в деревне кормил людей, а работа — повинность за житьё в самом счастливом государстве на земле. Уклонился — срок, и к нему всегда доведёсом 62-я статья алкоголизма для логичности.

Лесники — так называли всех работников леса — летом заготавливали сосновые шишки и жёлуди на семена, вели посадку леса, санитарную рубку. Входила в их обязанности охрана угодий, множество других работ. Зимой по пояс в снегу двуручной пилой с ласковым названием «Дружба» вели плановый повал.

А вечером в мокрой одежде заползали в жильё, растопляли печь, управлялись со скотиной, жарили картофель со шкварками или на сале, стирали в корыте бельё, как-то мало-мальски обмывали перепотевшие за день тела и собирались у какого-нибудь Ивана Кузьмича играть в карты. Дети тут же под столом воспитывались репликами и разговорами картёжников, поэтому в ходу у пацанов были клички: Король, Валет, Туз, Шестёрка... «Я те похожу», — грозились пацаны один другому, если замечался подвох.

Постепенно забывали люди родные места и им, как и мне, привыкалось к лесу. Назывались эти

небольшие, с домами, из дерева рубленными, с почернелой от времени древесины стен, поселения кордонами. Жили здесь домовито и в больших бараках, и в отдельных домах. Бани были личные, была и казённая — «общественная».

Почти столько же, если не больше, занимали постройки для содержания волов, выполнявших те работы, которые сегодня выполняет трактор, и лошадей, исполнявших обязанности автомобилей.

Кормился люд здесь почти натуральным хозяйством. Покупались в основном спички, соль, мука и сахар да керосин для освещения. Ещё «одежу» бабам и деткам. Сами лесники обходились одеянием казённым. Для приобщения к культуре тружеников социалистического государства на кордоны иногда привозила кино кинопередвижка — лошадка, запряжённая в телегу или сани. «Кинщик» устанавливал в свободном помещении, а летом прямо на улице аппаратуру и заводил движок-электростанцию.

Тогда все, оставив карты и самогон, с замиранием сердца смотрели на другую, чаще всего чёрно-белую жизнь. Думалось: неужели где-то и впрямь живут иначе! Ведь лучшей, кроме лесной жизни, никто не знал. Кино же только душу бередило-будоражило! Оно дополняло тогдашнюю жизнь тем, чего не всегда хватало в действительности. Отец дома назидательно говорил мальцу: «Видел, как люди живут? Учись, балбес, приобретай городскую профессию, человеком будешь, а не лесным лешим».

Ещё приобщал к культуре и сообщал новости радиоприёмник. Это сейчас он попутно помещается в мобильный телефон — подключил наушники и слушай себе, тогда же, в середине пятидесятых — начале шестидесятых в ходу были «Родина» и «Искра». Увесистые и габаритистые ящики работали на тогдашнем техническом чуде совершенства — пальчиковых лампах. Кормились эти ящики более увесистыми, чем сами, анодными и накальными батареями. Но и это не всё. Для работы радиоприёмника нужно было приобрести и установить антенну: на максимально доступной высоте подвесить на изоляторах не менее пятидесяти метров медного антенного канатика, сделать изолированный ввод, соединить его с рубильничком громоотвода, обустроить заземление. Покупали такое из-за низкой технической грамотности населения только отчаянные люди. К ним набивались вечером мужики с бабами и детьми слушать радио. Воспринималось радио чудом: «Балакает, будто рядом стоит!» — говорили. Наибольшей популярностью пользовались радиопостановки под рубрикой «Театр у микрофона».

Базовый посёлок, в котором позже я обосновался, называли городом, а пекарню при нём —

городской. «Городской» хлеб, калачи да булки деткам в гостинец покупались на праздники. Пасху тогда власти за праздник не признавали, куличи народ пёк дома. И чёрный, на каждый день, тоже дома. «Отвалит» «на спехах» хозяин от полуметровой ковриги «аржаного» скибу, ломоть так называли, посыплет «слегонца» солью для лучшего пищеварения и аж глаза прикрывает от удовольствия! Хлеб-то был настоящий; в деревянной деже наметенный, с естественной закваской, самоходом подошедший, в русской печи пропеченный до коричневости, да с лоснящимся верхом! Где сегодня такой отпробуешь? Вот почему городские калачи да булки покупались детишкам в гостинец.

Разоряя опустевшие избы последних кордонов, находили поселковые мужики в укромностях жилья даже деньги, чаще всего вышедшие из употребления, хотя зарплата составляла менее двадцати процентов от городской. На эти полуалименты люд существовал и про запас откладывал.

– Да и то сказать: «одежа» и «обуша» на круглый год тоже денег стоят! И жильё – казённое, и сено скотине, земли сколь может распахать, место для выпаса... – чего не жить! Так и жили, – рассказывают бывшие поселенцы из числа перебравшихся в посёлок.

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

Присев на корточки, заглянул в лица, городским фотографом переснятые, ретушью оттенённые. Смотрели они с каким-то изумлением, вопрос глазами задавали: «Это что, всё? И что – больше ничего не будет? А мы-то думали – вот-вот начнётся то, о чём всю жизнь мечтали, к чему стремились...»

На один из таких кордонов набрёл я однажды ближе к концу августа. Если конец августа сравнивать с человеческим возрастом, и то и другое – спелое. Когда мужику за сорок и первые робкие нити седины появляются на висках, тогда мудреют, начинают отсвечивать особым блеском умонаполненности глаза, тогда плавнее и осторожнее движения, бережнее отношение к жизни, к окружающему. И наполнено всё в человеке достоинством и восторженным умилением бытия. Говорят: вошёл в силу, взматерел. И – на мякине-то его не проведёшь, и седина-то бобра украшает... Мужик, одним словом, а не какой-нибудь там пацан. И мужик это чувствует, ведёт себя с достоинством, и если находит на него дурь ребячества, то чаще в гульбе да в своём кругу. Потом кряхтит, крутит виновато больной головой: «Чего по пьяни не натворишь!»

Лес тоже как-то по-особому картинен в это

время: блеск паутинных нитей, первые проблески желтизны листвы, мягкое умиротворение всего сущего под необыкновенно высоким и необыкновенно голубым небом. Богатство даров в земле, на земле и на ветвях. Густо-густо настоящий на подвядших травах, на грибах, на осиновой и сосновой коре воздух. Ясное и умеренно тёплое, перебесившееся за лето солнышко.

Все эти хорошестьи настраивали на самое сердечное отношение к окружающему, острили и пристальными взглядом, создавали ситуацию готовности великого христианского всепрощения всему земному сообществу, потому что вины-грехи наши не от нас чаще зависят, не волей нашей продиктованы.

Когда-то здесь были дома. Ещё хорошо видны границы огородов с остатками столбов и жердей, «чтоб коровы не лезли», палисадников, некогда стен, ямы погребов, никого не заинтересовавшие кучи древесного хлама. Там и там виднелись: то рваный сапог, то бутылка, то какое-то тряпье. Даже гулкий зев колодца с плавающим глубоко внизу мусором говорит-напоминает о требах людских, о краткости века всего сущего.

Последний дом сохранил ещё стены, фрагменты ограды палисадника и даже ветхую лавочку под окном, вместо которого зиял над ней провал. К такому всегда тянет как магнитом, чтобы замереть и, вглядываясь в остатки вещей, думать о жизни их хозяев, думать о своём житье-бытье. Потому что и мои вещи, сегодня живущие со мной моей жизнью, никому не нужны после меня, вот так же будут неприглядно валяться мусором, притягивать взгляды посторонних.

Открывшееся на подходе отозвалось болью внутри: к остаткам ограды палисадника прислонил кто-то вынесенные из дома два фотопортрета в почернелых рамах. Зачем «их» было выносить-выносить, кому они помешали, портреты последних жильцов этого дома? Где-то ещё они остались-сохранились? Разве что стынют на стенах в полном одиночестве по глухим деревням заколоченных досками «крест-накрест» изб, на чердаках, покрытые толстым слоем пыли, да над кроватями закутанных в тряпье стариков и старух, доживающих век свой в неуют, холоде и неудобье.

Иногда заносят портреты в чёрных рамах случайные ветры в город. Берут ведь сердобольные дети «доживать» к себе родителей, не отправляют их, как это сейчас стало общепринятым, в дом престарелых. Краснеет от стыда даже государство, стремясь как-то облагородить лик конторы, выдумывая ему мудрёные названия.

Приедет на машине из города сын или дочь забирать стариков; поторапливают, пошучивают. Им

всё весело и ничуть нажитого так тяжело не жалко. А он или она, собирая свои пожитки, первым делом на самое дно кладёт смертный узел, потом какое-никакое бельишко: кофтёнку-юбочку, потом, чуть ли не украдкой, кладёт ещё в сумку засиженное бойкой мухотой самое что ни на есть дорогое и памятное в потемневшей от времени раме. Сын там, дочь ли возражать пробуют: куда же, мол, это вешать-то? Но, стараясь не обидеть, махнут рукой: что с людьми старыми да с детьми малыми спорить. И рвётся связь времён, рвётся.

Когда-то было принято род свой знать до седьмого колена, а то и глубже. Гордость за дела предков испытывать, быть в чём-то на них похожими. Сегодня внук самой близкой родни имён не знает: дед да дед, баба да баба. Как кинули родители «гнездовье» в деревне, вышли на городские с-пылу-с-жару калачи да булки, так и позабыли корни свои.

Внуки приобщению к цивилизации гордятся. На языке особом говорят, одеваются «из-под пятницы суббота», верёвки-подтяжки сзади для форсу прилаживают, песни поют и слушают совсем не нашенские, радости жизни в другом видят, родителей на дух едва-едва переносят. Какие традиции! Чужие – да, наше родное – нет. И как тут действительно на видном месте такую тёмную раму держать!

Ни они, ни их портреты в чёрных рамах никому, видно, не нужны были. Схоронили их, может быть, люди случайные, а может, и родные, из пожитков их ничего с собой не взяв. Да и нечего, скорее всего, брать-то было. А о том, что помер, никто из умерших не знает и не узнает. И не нужно это ни живому, ни покойному.

Смерть – это с кем угодно, но не с нами происходящее. Глаз у смерти фасеточный, как у мухи! Как ты к ней со свёрнутой газеткой ни крадись, она всегда шустрее оказывается! И уж совсем не вмещает-понимает голова возможности доживания стариков на лесных кордонах, когда километры непроходимости до магазина, до людей. Кричи не кричи – никто не услышит.

«Сниматься» и «увеличивать» ездили в город. Своих умельцев на это дело в деревне не было. Пробовали некоторые, но спасибо в виде оплаты даже не пахнет, а химикаты, плёнка, бумага хороших денег стоят. А может, и потому, что не приветствовалась подобного рода деятельность властями. Да и никакая не приветствовалась! Пробьётся мужик в чинуши и такого из себя деятеля корчит – что и дышать бы рад запретить.

В молодости не до лирики-памяти было, снимались «для дела» три на четыре – формат такой на документы, а чтоб так, на память – баловством

считалось. Сначала на комсомольский билет, потом на паспорт, а потом – и школу коммунизма не обойти – на профсоюзный билет.

После оформления документа лишние фотографии, со временем пожелтевшие, хранились по сундукам да по комодам, если таковой наличествовал, или в раму вокруг зеркала они прилаживались. Постепенно к ним добавлялись совсем случайно сделанные то там, то там. Потом детишки, выбившись в люди, свои присылали из города на фоне улиц, высоких, непривычно белых кирпичных домов. А уж квартиру получают – тут вам и на балконе, и в каждой комнате, и на кухне. Радости-то! По сундукам да по комодам хранить такое без глаз людских невмочь было.

Брался хозяин за пилу да за рубанок, и вот уже в раме под стеклом на видном месте радость обретается. Гостю зашедшему подробно повестует: где, как, по какому случаю снимок сделан. Гость кивает головой, радость изображает да на стол косит всевидящим глазом. И «обмирает» всё у него внутри при виде запотелой поллитровки самогона с газетной затычкой.

Теперь он «трафит» хозяину, уточняя детали на фотографии. Особо отмечая, что только путёвым родителям Бог даёт путёвых детей, а путёвым детям счастье, что иначе и быть не может, отслеживая попутно порезанность на тарелке солёных огурцов в соседстве с двумя могучими помидорами со светлыми пятнышками рассольной (самое то!) плесени, готовность по запаху жареной картошки на сале. Выпивали, за жизнь разговоры разговаривали. По всему выходило: хозяин ко всем удачностям имеет «оченно» прямое отношение.

Проводив гостя, хозяин в благостном расположении размышляет: дети «поднялись», внуки скоро пойдут, с женой живу в мире и согласии, а вот внукам показать дедушку с бабушкой молодыми – сразу-то и не получается. Хозяйку зовёт, просит отворить сундук да достать из сундука «наши» фотографии. «Вот, – поднося к окну и подслеповато всматриваясь в за вечеревшей избе, выбирает хозяин, – которая на паспорт, куда ни шло, а на комсомольский билет – шкет какой-то художочный был и рожа бандитская». Хозяйка берёт из рук мужа крохотную фотографию на комсомольский билет, тоже долго всматривается. Всматривается уже вовсе не в фотографию, а мимо – в то своё всматривается-вспоминает. И что-то там, далеке далеком, видит она прищуренным взглядом, шевелит губами, счастливо улыбается. Да пригнётся вдруг бабёнка, прильнёт к плечу мужнину, засмущав мужика неожидан-

ностью проявления чувств. «Ну-ну-ну», – ласково гладит он ей спину ладонью.

Утром «увобратый» во всё с иголки, отправляется хозяин в город. «Жена-дура всё не верит, – топча не ближний след почти по «целику» впотьмах через лес на станцию Углянец, сам с собой рассуждает мужик, – что из маленькой «на паспорт» фотографии можно сделать большую. Так, что и в раму вставить, и на стену повесить». Хозяину и самому в это верится с трудом. Зато городской фотограф весело рассеял остатки сомнения:

«Сделаем! Об чём речь!»

«Чёй-то дорого», – пробует поторговаться хозяин, услышав цену.

«Увеличить надо, – загибает палец фотограф, – отпечатать, отретушировать...»

«Эт зачем?» – не понимает или делает вид, что не понимает, хозяин.

«От сильного увеличения, – растолковывает фотограф, – черты размоются, их надо проявить-подрисовать, а это работа художественная, тонкая, потом переснять, в рамочку вправить. Да помножь на два». Хозяин вздыхает и отсчитывает деньги. Отдавать деньги всегда жалко, особенно людям лесным. Траты их редки – всё своё – поэтому нет у них навыка относиться к деньгам с городской лихостью.

Лица у «портретов» получились немного испуганные, чем-то изумлённые и напряжённые. На маленьких-то вроде как незаметно было, на больших же все тонкости увеличились, явными стали. Но то, что я – это я, а она – она, сомнений не было. Довольный хозяин восторженно сжимал и тряс руку фотографа, несколько раз сказал «спасибочко, вот спасибочко!».

Фотограф даже немного засмутился, зная халтурность своих поделок, но лучше не умел. Прикинул: «И другие лучше не умеют, так же халтуру гонят!» Это его успокоило. Понимал кустарь, какую великую радость для человека сотворил. Что человек этот с простецкой душой, что в тонкостях его ремесла не разбирается и радуется по-настоящему искренно его халтуре.

А мужик уже торопился, спешил домой жене показать новоприобретённое – какими раскрашивыми были совсем недавно, попутно пытаясь понять: «Вот ведь штука-то: дома всё привычно до надоедливости: загнета, стол обеденный, кровать с блестящими шариками на грядушке, даже жена, а чуть отъехал, совсем немного, чуть-чуть не повидал, и душа заходится, постромки рвёт, погоняет – скорее, скорее. Как век не виделись. Во диво-то! Конечно, если сказать про рамочку, –

тут же перекинулся он совсем на другое, – то не так немного она понималась».

Виделась она ему или из дощечек, или из фанеры, или пластмассы какой, но не картонной с овальной выемкой для лица. Потом мысленно махнул рукой: «Сам деревянные поделаю да под стекло возьму...» И зашагал привычно и весело мимо всего привычного и знакомого по лесной дороге.

Старый лесник Филимон в лесу остановил, поручкались, что да как, расспросили друг друга. Лесные жители редко отъезжали куда-либо: боязно за домочадцев – лес ведь! Возвращающихся подолгу расспрашивали «о тамошней жизни», удивлялись новостям. Потом так же подолгу и подробно пересказывали новости встречным, находя это составной частью лесного образа жизни. Попросил Филимон развернуть, показать городское изделие. «Это хорошо, что попросил, – подумалось, – а то бы пришлось причину искать...» Показать-то все равно очень хотелось. Филимону портреты понравились. Он даже на обратную сторону заглянул. Послужив химический карандашик, в блокнотик адресок фотографа записал, подробно расспросил, как найти. Он в этот блокнотик с почернелой и потёртой до блеска обложкой всё записывал: сколько кабаньих следов, сколько оленьих и лосьих на квартал приходится, где какое дерево украдено и кто бы это мог сделать, судя по следам.

– Ну, давай, покедова, – подал ручище Филимон. «Во, – довольно подумалось, – и Филимон с Филимоной себе радость сотворят»

Чужой, к лесу непривычный человек боится леса. Понавыдумывает себе страхов: пень ему волком, валежина медведем кажутся. Однажды и сам на тропе стухнул. Показалось ему впереди – а сумерки уже наполовину опустились – шевеление в кусте разросшейся бузины. Остановился. Глядь – и впрямь из куста кабанёнок ему навстречу, за ним другой, третий. Мимо пробегают, повизгивают. «Куда же они?» – мелькнуло в голове. Оглянулся, а сзади мама-кабаниха. Отвернулся он тогда от глаз зверя и, не оборачиваясь, пошёл. Какие мысли в голове были, как хотелось не идти, а бежать что ни быстрее! Потом уже как вспомнится тёмная громадина, спине холодно становится...

Поднялся я тогда с ветхой от времени лавочки, что под пустым проёмом окна обреталась. Помнила, показалось мне, лавочка, как по вечерам сидели на ней хозяева, о своём сокровенном неспешно переговаривались, даже спорили, уточняя: то чьё-то имя, то время события.

– А помнишь, Юрка наш шёл со школы да в лесу заблудил. Нашли под дубом у пожарной вышки: на-

морился и спит. А Светку напугали волками, их и впрямь много было: телят, бывало, до жилья гонят. Она потом до середины километра четыре пройдёт и меня ждёт. Зовёт на весь лес: «Ма, ма-ма». Я отзовусь, так она бегом на голос бежит...

– Филимон-то в каком годе помер?

– Давно, давно уже. Филимониha-то посла похорон к дочке уехала, там доживала. Зять-то окаянный с придурью достался, а как выпьет, и вовсе... тяжко ей, Царствие ей Небесное, доживать досталось.

– А кордон ихний не то цел?

– Разорили весь как есть, до щепочки разволокли.

– И нашу избу растащат?

– А ты думаешь, не растащат что ли? – растащат...

И вдруг совсем неожиданно она спрашивает:

– А не то на этой земле помнить-вспоминать нас хоть кто-нибудь будет?

Ответил он не сразу – всё думал... – вон бабу-то куда понесло! Да и сам он об этом частенько подумывал.

– Ну, если только детишки не сразу позабудут... а так... – он опять надолго задумывается.

– Кто мы, что мы и зачем – никто толком не знает. Мы как отцов да матерей своих помним? На Пасху помянем, а про дни их рождений вспомнить не всегда получается... или чтоб портрет на стену... и в голову не приходило повесить. О дедах да бабушках наших вовсе ничего не знаем, хотя куски их жизней захватили порядочные. В молодости было не до этого, а как они ушли – спросить не у кого. Тёмный лес наши души. Как мы кого помним, так и нас будут помнить.

Надолго смолкли. О чём особенно говорить-то. Соседей нет – порасползлись соседи кто куда: кто на кладбище, кто к своим доживать, кто в дом престарелых. Пока они рядом жили, нет-нет да собирались, бывало, в картишки переброситься, поговорить...

Подошёл я к остаткам изгороди палисадника, мысли одолевшие стряхивая, потрогал рамки портретов. Присев на корточки, заглянул в лица, городским фотографом переснятые, ретушью оттенённые. Смотрели они на меня с каким-то изумлением, вопрос глазами задавали: «Это что, всё? И что – больше ничего не будет? А мы-то думали – вот-вот начнётся то, о чём всю жизнь мечтали, к чему стремились...»

Ничего я им тогда на их немой вопрос не ответил, только заскребло внутри, тоскливо заскребло – ведь и мои глаза с моего изображения потом-потом будут точно так же спрашивать у тех, кто будет жить после меня, о том же, и подумал: «Сколько ж нас на земле перебивало и исчезло без следа... И удивительно ощущение – каждый уходящий уносит с собой частицу того, что связывает меня с земной жизнью».

Александр Иванович МАЛЬЦЕВ

родился в 1948 году в селе Лесополяна

Нижедевицкого района Воронежской области.

Окончил исторический факультет

Воронежского государственного университета.

Работал в Воронежской области учителем, директором школы.

Служил в органах МВД.

Публиковался в журналах «Подъём», «Север»,

региональной печати, коллективных сборниках.

Автор четырёх поэтических книг.

Живёт в посёлке Бор Рамонского района Воронежской области.

